

В. А. Фатеев

## «ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ» (НЕПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ ФИЛОСОФА НИКОЛАЯ СТРАХОВА)

Статья посвящена особенностям биографии и личности философа Н. Н. Страхова (1828–1896), который родился в семье протоиерея, с детства воспитывался в священнической и монашеской среде и окончил Костромскую семинарию, но уклонился от избрания духовной стези. Тем не менее, в скромном поведении, холостяцком уединенном образе жизни среди книг, как и в сочинениях этого «несостоявшегося монаха», проявились черты очевидного сходства с монашеским укладом. Основное внимание в статье уделено путешествиям Страхова в Оптину пустынь (вместе с Л. Н. Толстым) и на Афон.

**Ключевые слова:** Н. Н. Страхов, монашество, философ, мирской монах, келья, монастырь, вера, нигилизм, Лев Толстой, Церковь, старец, Оптина пустынь, Афон.

В образе уединенного мыслителя и книжника, живо очерченном беллетристом Д. И. Стахеевым в его повести «Пустынножитель»<sup>1</sup>, легко узнаются черты и привычки философа, литературного критика и публициста Н. Н. Страхова (1828–1896). Проживший всю жизнь холостяком Страхов на протяжении 16 лет делил с семьей Стахеева общую квартиру. И вряд ли кто лучше автора многочисленных романов, повестей и рассказов, жившего по соседству, знал бытового уклад этого скромного, одинокого и тихого человека. Необычный сосед по жилищу, который вел образ жизни, чем-то схожий с монашеским, запечатлен Стахеевым, пусть и несколько поверхностно, но ярко, в нескольких его литературных произведениях.

Как известно, Страхов собрал огромную библиотеку, которая после его кончины досталась по завещанию владельцу Санкт-Петербургскому университету. Книги заполнили почти всё пространство его жилища, состоявшего из двух комнат, и вышли даже в переднюю. Стахеев писал в другом, тоже весьма занятом рассказе-воспоминании, уже прямо

---

*Валерий Александрович Фатеев* — кандидат филологических наук, член редакционной коллегии издательства «Росток» (vfateyev@gmail.com).

<sup>1</sup> *Стахеев Д.* Пустынножитель. (Повесть о книгах и книжниках) // Русский вестник. 1890. Март. С. 114–155; Апр. С. 164–199.

посвященном Страхову: «Всю жизнь свою со дня молодости до последнего, можно сказать, дня своего земного существования он был занят книгами, разыскивал их по ларям букинистов, расставлял по полкам своей квартиры и с утра до вечера был погружен в их чтение»<sup>2</sup>. Сосед философа шутил, что тот живет в огромном книжном шкафу. И почти всё свое свободное от службы время в ненастном Петербурге мыслитель проводил в своеобразном затворничестве, наедине со своими думами и рукописями, среди любимых книг. Он был в этом подобен какому-нибудь «ученому мниху» былых времен, как писал Б. В. Никольский, считавший себя учеником Страхова и написавший о нем биографический очерк по материалам, предоставленным самим философом<sup>3</sup>.

Стахеев в своей повести делает основной акцент на странствиях своего героя, увлеченного собиранием книжных раритетов, по многочисленным петербургским букинистам. О поразительном богатстве и утонченном подборе книжной коллекции Страхова писали практически все, кто у него бывал: от странствующего философа Владимира Соловьева до художника Ильи Репина, написавшего его портрет (к сожалению, не слишком удачный). Соловьев в пору их сближения со Страховым даже останавливался в холостяцкой квартире отсутствующего хозяина, находя, впрочем, главным недостатком его жилища «большое искушение от многокнижия»<sup>4</sup>.

Но Страхов был не столько коллекционером, сколько именно прилежным читателем книг. И отнюдь не в книжном собрании состояло главное его достоинство — этот «пустынножитель» был, по отзыву видного архиерея и богослова, «просвещеннейшим человеком в России»<sup>5</sup>. Страхов, действительно обладавший на редкость разносторонними знаниями, был математиком и зоологом по образованию, философом и литературным критиком по дарованию. Никольский пишет: «Приобретение книг было единственным „светским удовольствием“, спортом, охотой этого мирского монаха»<sup>6</sup>. Живя большую часть года почти отшельником,

---

<sup>2</sup> Стахеев Д. Станислав первой степени и енотовая шуба (из воспоминаний о Н. Н. Страхове) // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 442–443.

<sup>3</sup> Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896.

<sup>4</sup> Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. 1. С. 7.

<sup>5</sup> Мнение ректора Казанской духовной академии архим. Антония (Храповицкого), высказанное в частном письме к Н. Н. Страхову в 1895 г. См.: *Говоруха-Отрок Ю. Н.* Во что веровали русские писатели. СПб., 2012. Т. 2. С. 152.

<sup>6</sup> Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов... С. 7.

Страхов, при своем «тихом и безмолвном житии», был близко знаком, тесно сотрудничал и состоял в переписке с А. А. Григорьевым, Н. Я. Данилевским, Ф. М. Достоевским, В. С. Соловьевым, К. Н. Леонтьевым, Л. Н. Толстым, А. А. Фетом, В. В. Розановым и еще многими лучшими умами и талантами второй половины XIX века.

Монашеские черты в облике и манере поведения Страхова подмечались почти всеми, кто близко его знал. И это неудивительно, так как происходил он из «поповичей», и детство его прошло в семье протоиерея, преподавателя Белгородской духовной семинарии. А после смерти отца с семилетнего возраста будущий философ и критик воспитывался под началом своего дяди, архимандрита Нафанаила (впоследствии архиепископа Черниговского и Нежинского). Все шло к тому, что юный семинарист вступит на духовный путь, а может быть, к радости его дяди-архиерея, примет и иноческий постриг, тем более что некоторые особенности его характера явно указывали на предрасположенность к монашеству.

Однако этого не произошло. Нет сомнений, что какое-то нестроение наблюдалось в самой системе семинарского образования середины XIX века. Семинарии взрастили не только множество славных архиереев, пастырей и иноков-молитвенников: из хлебнувших постной бурсацкой похлебки вырос тогда буквально целый сонм безбожников и нигилистов. Мало того что многие семинаристы пошли по светской стезе, утратив интерес к пастырскому служению — самые способные из них стали во главе революционного движения, используя журналистику как средство социальной пропаганды, и нанесли своей деятельностью непоправимый ущерб духовному состоянию русского общества. Именно бывшие семинаристы, от всем известных «революционных демократов» Чернышевского и Добролюбова до более вульгарных, но не менее деятельных Г. Е. Благосветлова, М. А. Антоновича, Г. З. Елисеева и им подобных, стали знаменосцами литературно-революционного отряда атеистически настроенных, идейных разрушителей во имя «светлого будущего».

Как ни удивительно, едва ли не главным идейным противником этой духовной болезни, получившей ныне мало используемое наименование «нигилизма», стал Н. Н. Страхов, тоже прошедший через семинарское обучение и отказ пойти по духовному пути.

Нигилистическое движение вырастало и обретало силу совсем рядом со Страховым, и он знал по личному опыту его корни и причины. Показательно, например, что Н. А. Добролюбов, сын священника, вместо

духовной академии в 1853 году поступил в Главный педагогический институт, который чуть раньше окончил и Страхов. Если вспомнить здесь, что даже такие будущие консерваторы, как близкие к Страхову Ф. М. Достоевский и Н. Я. Данилевский, примыкали в молодости к революционному кружку Петрашевского — можно себе представить, какова была атмосфера того времени.

Сам Страхов, как и немало семинаристов, также покинул духовный путь, но при этом не утратил самостоятельности мышления. Более того, по его собственному заявлению, ему захотелось избрать своей специальностью естественные науки, чтобы лучше понять движущие силы разрушительных устремлений. Желание изучить естественнонаучные основания нигилизма, чтобы успешнее бороться с ним, в какой-то степени предопределило, как писал потом Страхов, выбор им для специализации естественных наук: «В знаменитом университетском коридоре мне доводилось слышать то рассуждение о том, что вера в Бога есть непростительная умственная слабость, то похвалы системе Фурье и уверения в ее непрременном осуществлении. А мелкая критика религиозных понятий и существующего порядка были ежедневным явлением. Профессора редко позволяли себе вольнодумные намеки и делали их чрезвычайно сдержанно, но товарищи тотчас же объясняли мне смысл намеков. Один из университетских моих приятелей был очень хорошим моим руководителем в этой области. Он объяснял мне направления журналов, разъяснял, какой смысл придается стихотворению „Вперед, без страха и сомненья“, рассказывал суждения и речи более зрелых людей, от которых сам научился этому вольнодумству»<sup>7</sup>.

Страхов так обосновывал позже свою позицию на путях обретения умственной самостоятельности: «Отрицание и сомнение, в сферу которых я попал, сами по себе не могли иметь большой силы. Но я тотчас увидел, что за ними стоит положительный и очень твердый авторитет, на который они опираются, а именно — авторитет естественных наук. Ссылки на эти науки делались беспрерывно, материализм и всяческий нигилизм выдавались за прямые выводы естествознания, и вообще, твердо исповедовалось убеждение, что только натуралисты находятся на верном пути познания и могут правильно судить о самых важных вопросах. Итак, если я хотел „стать с веком наравне“ и иметь самостоятельное суждение в разногласиях, которые меня занимали, мне нужно

---

<sup>7</sup> Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов... С. 10–11.

было познакомиться с естественными науками. Так я и решил сделать, ни за что не отступал от своего решения и понемногу привел его в исполнение, хотя математический факультет — ближайший к естественному, мне очень жаль было такого отклонения от прямой линии, но дело потом поправилось»<sup>8</sup>.

25 мая 1881 года, споря с Толстым о нигилистах, которых тот защищал, Страхов писал: «Этот мир я знаю давно, с 1845 года, когда стал ходить в университет. Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. — главных проповедников нигилизма — всё это я близко знаю, видел их развитие, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и прочее. Тридцать шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, и мое отвращение всё усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда я вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет, только это действует, только это может надеяться на будущность, а все другое гложет и чахнет»<sup>9</sup>.

\* \* \*

Нам легко представить себе Н. Н. Страхова уже степенным и осторожным старцем-книжником, умудренным многотчием и размышлением. И намного меньше знаем мы о духовных метаниях его юности. Да и трудно представить его рационально сдержанную, аскетическую натуру в рядах безрассудных искателей светских удовольствий, тем более что на его собственноручных описаниях Костромской семинарии лежит налет благостности и нравственного здоровья. Ничего, кажется, не напоминает здесь обстановки «Очерков бурсы» Помяловского, где вырастают будущие смутьяны.

Страховские впечатления раннего детства еще неразрывно связаны с Церковью: «Мне помнятся мои детские и юношеские и зрелые чувства с такою живостию... Я помню и то благоговение, с которым я стоял в церкви, когда был мальчишкой»<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Там же. С. 11.

<sup>9</sup> Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки: в 2 т. Оттава; М., 2003. Т. 2. С. 606 (Далее: Толстой — Страхов. Переписка).

<sup>10</sup> Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 820.

Очень важные размышления подростка, относящиеся, судя по возрасту, к периоду учебы в семинарии, содержатся в письме Страхова к Толстому от 29 октября 1894 года: «Помню, когда мне было 13 или 14 лет и я стал уже думать о том, чего от нас требует религия, я пришел к мысли, что должно быть в нее никто не верил вполне, не верил во Христа и до наших дней. Это меня ужасало и удивляло. Если нам предстоит с одной стороны рай, а с другой ад, то не ясно ли, что только об этом и нужно думать, что нужно всё бросить и спастись, как спасались отшельники, из которых иные верно одни только и спаслись, но тогда не было бы всемирной истории, прекратились бы всякие труды, войны, государства и т.д. И значит, ни один из великих людей, которых восхваляет история, в рай и ад не верил. Это было мне совершенно ясно, но моей веры не поколебало; напротив, я стал молиться и поститься до обмороков. Долго и мучительно я боролся, пока наконец не сбросил с себя гнета. Пока не проснулся от кошмара, и, к несчастью, тогда покачнулся в противоположную сторону»<sup>11</sup>. Так начиналось отпадение семинариста от веры.

Более сложные психологические переживания, связанные с нарастающим раздвоением личности, описаны Н. Н. Страховым в отрывке из автобиографической повести «Последний из идеалистов»<sup>12</sup>. Он открывает завесу над своим внутренним миром в тот сложный период, когда владевшие его душой возвышенные мечтания, ослепительной яркости видения «царства света и красоты» пришли в противоречие с приземленностью окружающей действительности. Это противоречие привело его к глубокому внутреннему раздвоению, своего рода гамлетизму. Он сравнивает себя с «Гамлетом Щигровского уезда», и это сравнение, как и встречающееся у него обнаружение в себе фаустовского начала, передает одну из граней его сложного мироощущения.

Герой фрагмента повести первый раз почувствовал, что он «чужой для жизни», в шесть лет, после смерти отца. Раздвоение между романтическим идеалом и тусклой действительностью постепенно нарастало: «И вот из этих образов и мечтаний я создал себе целый мир дивной красоты, целую жизнь идеального совершенства. Душа моя вся заполнилась этими образами, вся увлеклась этими стремлениями, вся жила этою жизнью... в сравнении с моим идеальным миром все окружающее меня

---

<sup>11</sup> Там же. С. 969.

<sup>12</sup> *Страхов Н.* Последний из идеалистов. Отрывок из ненаписанной повести // *Страхов Н.* Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 257–295.

должно было тускнеть и обезобразиваться. От чистого и яркого света, к которому я обращал свои глаза, падала на действительность густая тень ничтожества. Все, что я видел вокруг себя, не имело в моих глазах ничего прекрасного, все было грязно и мелко до высокой степени. И себя самого я считал существом ничтожным...»<sup>13</sup>. Результатом этой раздвоенности и стало то, что Страхов, как он сам пишет, «боязливо зарылся в книги»<sup>14</sup>.

Тяжело читать в письмах Страхова самоуничижительные откровения о своем душевном разладе, но эта неоконченная повесть раскрывает корни того внутреннего неблагополучия, которое производит тягостное впечатление и в его письмах зрелых лет. Не случайно Толстой после подобной «исповеди» однажды рекомендовал ему не писать воспоминаний, так как он, по мнению писателя, не умел отличить добро и зла в собственной душе. Как бы то ни было, в этом самоуничижении можно увидеть не только отрицательные черты, но и покаянное настроение, стремление к искоренению греховных пристрастий.

Изредка вскользь упоминает герой повести и о своих любовных похождениях: «Женщины не могли чувствовать большого расположения к человеку, у которого постоянно сидит какой-то странный гвоздь в душе...»<sup>15</sup>. «Кончилось всё это тем, что я впал в отчаяние и решил оставить всякую борьбу. Жизнь мне не давалась. Ни одна черта из моего идеального мира не сбывалась на деле»<sup>16</sup>.

Но все эти психологические нюансы оставались тогда скрытыми в душе юноши. Важным было то, что Страхов, как и многие другие семинаристы, к концу гимназии отказался идти по стопам отца и дяди. О причинах своего ухода из духовенства после семинарии сам Страхов умалчивает, но ясно, что прежде всего его увлекли науки.

В 1846 году он поступил в Петербургский университет и окунулся в соблазнительную атмосферу студенческой вольницы. Самые яркие картинки безрассудного юношеского погружения в бурную столичную среду можно почерпнуть из писем Страхова к священнику Иоанну Скивскому, преподавателю Костромской гимназии. Он с огромным желанием посещает университетские занятия, но его влекут и светские удовольствия.

---

<sup>13</sup> Там же. С. 285–286.

<sup>14</sup> Там же. С. 289.

<sup>15</sup> Там же. С. 290.

<sup>16</sup> Там же. С. 290–291.

Еще целый год после поступления в университет он жил среди монахов в Санкт-Петербургской духовной академии, так как возведенный к этому времени в сан епископа Нафанаил не оставлял надежды вернуть увлекшегося науками племянника на духовный путь. Но племянник начинает приобщаться к светским удовольствиям и соблазнам, хотя не менее увлеченно занимается и науками. Разочарованный дядя отлучает его от материальной помощи, и Страхов смело пускается в самостоятельное плавание, поменяв университет на Главный педагогический институт, где студентам полагалась стипендия.

Хотя Страхов не оправдал надежд строгого владыки, заменившего ему отца, он не примкнул к тому радикальному движению, которое формировалось под предводительством бывших семинаристов в эти годы среди молодежи. Но его бурная, бесшабашная жизнь продолжалась еще много лет. При этом юноша страстно занимается науками, предается философским размышлениям, пишет романы и повести, рассылая их по редакциям, и не унывает, получая отказы. Один из образчиков его прозы, повесть «По утрам», отвергнутая редактором «Современника» Н. А. Некрасовым, поражает не только совершенно нехарактерными для зрелого Страхова бесшабашностью и весельем, но и, как ни удивительно, своим эротическим содержанием. Толстой в одном из разговоров после кончины Страхова упомянул, что в молодые годы он сильно пил.

Впоследствии Страхов рассматривал этот ранний этап своей биографии как период нравственного падения. Завершился он уже в 1860-е годы, совпав с крушением журнала Достоевских «Время» из-за страховской статьи «Роковой вопрос». Нам трудно представить себе того веселого и беззаботного молодого человека, каким, видимо, был в юности Страхов.

Перелом наступил в шестидесятые годы. Позже, по поводу статьи Розанова о нем, Страхов писал ее автору: «А откуда Вы взяли, что я когда-нибудь был „задумчивым молодым человеком“? Едва ли так; большей частью я был тогда непомерно жив и весел. Но как раз около времени „Рокового вопроса“, меня придавило мое беспутство, и я замолчал»<sup>17</sup>. Страхов остепенился, перестав пить и развратничать, но не женился и так на всю жизнь и остался холостяком. Именно с этих пор он становится тем сторонником строгой нравственности, каким он предстает перед нами из своих сочинений и писем. Годы учебы в семинарии

---

<sup>17</sup> Розанов В. В. Литературные изгнанники. М., 2001. С. 60.



не прошли даром. Да и хорошо ему знакомый монашеский образ жизни, наверно, тоже оказал свое влияние. Своеобразные черты характера, усвоенные Страховым в семинарии, заметно проявлялись в его поведении всю жизнь.

\* \* \*

Из-за своей скрытности, уклончивости, подчеркнутой обходительности и нежелания много говорить о себе Страхов производил на окружающих двойственное впечатление. Недоброжелатели нередко подозревали его в неискренности, желании угодить и нашим и вашим. А наличие у него высокопоставленных знакомых позволяло делать выводы об угодливости к сильным мира сего в карьерных целях<sup>18</sup>, совсем уж нелепые из-за присущей ему щепетильности и деликатности в отношениях. Особенно много насмешек вызывала доходящая до преклонения любовь Страхова к Толстому, но это действительно была искренняя дружба, и в значительной степени взаимная.

Что касается практицизма и расчетливости, то на самом деле всё было наоборот: податливого и вежливого, не обремененного семейными узами Страхова эксплуатировали буквально все, начиная с его друга Толстого, которому он был готов, восхищаясь его гениальностью, всячески помогать, служа и справочной книгой, и помощником в хлопотах по издательским делам, и корректором. Немало хлопот доставлял ему и опекаемый им за единомыслие Розанов, который взвалил на него устройство своих статей в журналы и даже их редактирование.

Страхов умел быть полезным и смиренно выполнял эти свои послушания. Лучше всего говорит о его благородстве то, что он бескорыстно трудился над изданием и популяризацией сочинений близких ему А. А. Григорьева и Н. Я. Данилевского. Лишенный предвзятости М. М. Меньшиков писал о погруженности любомудра в мир книг: «Страхов всю жизнь прожил в сфере самых высших откровений современного и прошлого человечества. Он мог бы сделать блестящую карьеру (в числе близких друзей его были Вышнеградский, Победоносцев и др.), но он был далек от этого: 23 года тому назад он сделался библиотекарем Публичной библиотеки и дальше не пошел. Да и куда ему было идти с Олимпа, где он чувствовал себя среди богов! <...> Страхова упрекали, что он льнул к сильным мира, к знаменитостям, старым и молодым.

---

<sup>18</sup> См., например: С. У. [С. И. Уманец.] Мозаика (Из старых записных книжек) // Исторический вестник. 1912. Декабрь. С. 1042–1047.

Действительно, среди „сильных мира“ у него было много друзей, но он был совершенно независим от них и не извлек никакой корысти из этой дружбы. Не со всеми, а только с избранными по уму и дарованию во-дился он, причем имел бесстрашие любить, кого хотел»<sup>19</sup>.

Чтобы убедиться в верности этих слов, достаточно прочесть полный юмора рассказ Стахеева о том, как Страхов расстроился в связи с присвоением ему ордена Святослава первой степени, и о его мытарствах из-за отсутствия денег, необходимых, чтобы выкупить этот орден<sup>20</sup>. Так и не решившись просить о помощи высокопоставленных знакомых, включая своего друга-однокурсника, министра финансов И. А. Вышнеградского, Страхов смиренно продал свою добротную шубу и сделал вывод, что следует обходиться собственными средствами.

25 апреля 1878 года он писал Толстому: «Вы спрашиваете меня, как же я прожил до сих пор? А вот как: я никогда не жил как следует. В эпоху наибольшего развития сил (1857–1867) я не только что жил, а поддался жизни, подчинился искушениям; но я так измучился, что потом навсегда отказался о жизни. <...> Я *берегся*, я старался ничего не искать, а только избежать тех зол, которые со всех сторон окружают человека. И особенно я берегся нравственно — совесть у меня слабая, беспокойная: сделать подлость или несправедливость для меня несносно»<sup>21</sup>.

Это был тихий, скромный человек, которому ничего не было нужно. В еде и одежде он довольствовался минимумом, в отношениях с людьми больше слушал, чем говорил. Как свидетельствует Розанов, «в Страхове было ужасно мало бытового, житейского...»<sup>22</sup>. В его стремлении предельно ограничить свои запросы были монашеские черты. Многим эти черты не нравились, а его неприхотливость, смиренное принятие жизненных обстоятельств казалось показным «смирenniчаньем». В этой связи дорогого стоит признание такого нравственного авторитета, как И. С. Аксаков, с которым у Страхова установились теплые доверительные отношения. Аксаков был уверен, что в подчеркнутой вежливости и сдержанности Страхова нет показного «смирenniчанья»:

---

<sup>19</sup> М. [Меньшиков М. М.] Памяти Н. Н. Страхова // Книжки «Недели». 1896. № 3. С. 253–257.

<sup>20</sup> Стахеев Д. Станислав первой степени и енотоя шуба (из воспоминаний о Н. Н. Страхове) // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 441–479.

<sup>21</sup> Толстой — Страхов. Переписка. Т. 1. С. 432.

<sup>22</sup> Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год // Розанов В. В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло... М., 1997. С. 252.

«Если бы я не верил искренности Вашего смирения, глубокоуважаемый Николай Николаевич, я бы назвал его смиренничаньем и не на шутку б рассердился на вас за ваши извинения...»<sup>23</sup>.

\* \* \*

Но Б. В. Никольский, который был со Страховым близко знаком и даже получил от него для составления биографии ряд не опубликованных прежде материалов, в своем большом очерке, посвященном философу вскоре после его кончины, не останавливается на фиксации лишь внешних впечатлений от аскетических черт в его облике и образе жизни. Никольский набрасывает целую систему воззрений и привычек «мирского монаха» Страхова, возводя их исключительно к церковно-монашеским влияниям. В этой тщательно выстроенной системе есть очень точные попадания в цель, но имеются, надо признать, и очевидные преувеличения и натяжки.

Никольский возводит особенности необычного поведения Страхова к монастырскому влиянию на мыслителя, выросшего в священнической и монашеской среде: «Прежде всего монастырская жизнь и семинарское развитие выработали в Страхове его личный характер или то, что обычно называют характером: приемы обращения с людьми и предметами, отношения к мнениям и системам, к искусству и науке. И в личном обхождении покойного, и в строе его жизни, и во всей его биографии было много аскетического, много знакомого каждому, кто хоть поверхностно наблюдал характер и особенности православного монашества»<sup>24</sup>.

Никольский так описывает бытовое поведение Страхова: «Всегда неизменно деликатный и благодушный, мягкий и вежливый, но уклончивый, так же скупой на выражение своих симпатий, как и антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой или смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не направляющий разговора на ту или другую сторону, но всегда идущий за своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым словом — таким вспоминают его с невольной улыбкой все, кто лично знал Страхова. Он обо всем решительно беседовал таким тоном, как монах говорит с мирянином о светских

---

<sup>23</sup> И. С. Аксаков — И. Н. Страхов. Переписка. Оттава; М., 2007. С. 141.

<sup>24</sup> Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов... С. 6.

делах и вопросах, тщательно избегая даже малейшим намеком обнаружить хоть что-нибудь из внутреннего быта и обихода своего монастыря. О себе Страхов почти никогда не говорил, даже местоимение я проскальзывало у него в разговоре, как и в сочинениях, только в виде исключения. Комфорт, удовольствия и удобства жизни для него, можно сказать, не существовали; он заменял их только редкой чистотой, аккуратностью и порядком»<sup>25</sup>.

Страхов активно участвовал в литературной жизни Петербурга: посещал всевозможные мероприятия, принимал дома гостей по средам и сам ходил по определенным дням, как было тогда принято, на обеды. Слыл завсегдатаем оперы. Но нередко это участие в светской жизни и особенно вынужденные встречи тяготили его. Он предпочитал уединенные занятия в домашней тишине: «Сижу больше дома, но меня тащат и, как ни упираюсь, приходится многое видеть и слышать. Прихожу домой и чуть не упрекаю себя за измену одиночеству и молчанию»<sup>26</sup>.

Никольский, подобно другим современникам, доносит до нас необычную обстановку квартиры Страхова, естественно, находя в ней сходство с кельей монаха: «В его дом вы входили, как в келлию какого-нибудь монастырского библиотекаря: портреты хозяина, подаренные ему на память художниками, портреты и бюсты двух, трех писателей, две три картинки, дорогие, как воспоминания детства, и полки с книгами: вот вся его обстановка. Несколько стульев предназначалось для гостей; остальная мебель допускалась лишь как прибор для помещения книг»<sup>27</sup>. Из-за бытовой аскетичности сравнение скромной квартиры с кельей, видимо, напрашивалось само собой: с монашеским жилищем сравнивали его квартиру и другие современники. Например, С. И. Уманец писал о ней как о «кабинете, напоминающем келью Фауста, которого, по внешности, отчасти олицетворял собою наш маститый, седобородый философ...»<sup>28</sup>.

Книги значили очень много в жизни Страхова с детства, и, скорее всего, именно склонность к познанию, к чтению и увела его от соблазнов мирской жизни. Он писал об этом в своих воспоминаниях: «С самого

---

<sup>25</sup> Там же. С. 6.

<sup>26</sup> А. А. Фет и его литературное окружение. М., 2011. Кн. 2. С. 549 (Серия «Литературное наследство». Т. 103).

<sup>27</sup> Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов... С. 6–7.

<sup>28</sup> Уманец С. И. Из воспоминаний об А. Н. Майкове // Исторический вестник. 1897. Май. С. 462.

детства у меня была любовь к книгам, и знаменитые имена писателей, ученых и философов возбуждали во мне благоговение и желание познакомиться с их произведениями. Тут было что-то невольное, как бы прирожденное, мне и тогда, и потом, почти не случалось встречать людей, у которых эти чувства господствовали бы в такой мере, как у меня. Царство ума, новые и древние создания мысли и творчества, являлись мне с детства как далекое небо, обступившее меня со всех сторон и усеянное прекрасными светилами»<sup>29</sup>. О начатом в Костромской духовной семинарии «плавании по морю книг» Н. Н. Страхов рассказывает в своих, к сожалению, кратких, лишь начатых воспоминаниях. Он ставит себе интересную цель: уловить через свои меняющиеся умственные интересы ход движения различных явлений философского характера в русской литературе.

В связи с этим Страхов подробно вспоминает о пяти годах, проведенных им в Костроме, в стенах Богоявленского монастыря, где располагалась духовная семинария. Тут состоялось не только его непосредственное знакомство с монашеской средой, но и соприкосновение с церковной древностью: «Это был древнейший и почти опустевший монастырь, — в нем было, кажется, не более восьми монахов, но это был старинный монастырь, основанный еще в XV веке». «Везде были признаки старины <...> И прямое продолжение этой старины составляла наша жизнь: и эти монахи со своими молитвами, и эти пять или шесть сотен подростков, сходящихся сюда для своих умственных занятий». Страхов отмечает, что в этой монастырской обстановке они естественно воспитывались в патриотическом духе: «В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было возможности сомнения в том, что она нас породила и она нас питает, что мы готовимся ей служить и должны оказывать ей повиновение и всякий страх и всякую любовь».

Несмотря на «повальную лень» семинаристов, вспоминает Страхов, «какой-то живой умственный дух не покидал нашей семинарии и сообщился мне. Уважение к уму и к науке было величайшее».

Однако в центре интересов не испорченных пока вольнодумством подростков все еще была религия: «Наши умы и души имели, впрочем, свое определенное содержание, именно — проникнуты были религиозными представлениями. Неверующих и вольнодумцев у нас вовсе

---

<sup>29</sup> Страхов Н. Воспоминания о ходе философской литературы // Исторический вестник. 1897. Май. С. 423.

не было, и мы были твердо убеждены, что отрицание религии есть крайняя уродливость, чрезвычайно редко встречающаяся в роде человеческом. Таким образом, мы вполне испытали на себе влияние религии, мы были воспитаны под ее верховным руководством»<sup>30</sup>.

Страхов, в религиозности которого сомневаются многие писавшие о нем, да и который сам нередко оговаривает себя «неверующим», убежденно рассуждает о возвышающем влиянии религиозных представлений на бытие человека: «Вместо бесцельного существования, проводимого среди будничных нужд и будничных радостей, человеку предлагается подвиг и указывается впереди или постоянная погибель, или бесценная награда»<sup>31</sup>. Страхов так определяет влияние религии на жизнь человека: «...если бы мы вообразили себе человечество без религии, то нам пришлось бы понизить его почти до степени животных»<sup>32</sup>. Он пишет о красоте и величии храмов, о значении Библии в познании истины и делает очень важный вывод о значении для души всякого человека хотя бы временного ее соприкосновения с высшими ценностями религии: «Вот почему всякий, кто раз в жизни действительно воспринял влияние религии, тот навсегда сохранит к ней великое уважение, а если потеряет веру, то не может однако (по крайней мере, не должен) забыть вершин, к которым восходила его душа...»<sup>33</sup>. Это высказывание философа вполне может послужить ключом и к его собственной сложной и противоречивой биографии.

Философия особенно интересовала Страхова еще с семинарских времен, но в семинарии, как он отмечал, ее преподавали плохо. Авторитет естественных наук и царившее тогда убеждение, что «только натуралисты находятся на верном пути познания и могут правильно судить о самых важных вопросах»<sup>34</sup>, привели Страхова на математический факультет университета, а затем на естественный факультет Главного педагогического института.

Отличительной чертой Никольский называет «монашескую» сосредоточенность Страхова на теме беседы или размышления: «В мышлении, разговорах, в своих произведениях он опять-таки отличался той чисто монашеской, почти наивной серьезностью, с которой взвешивал

---

<sup>30</sup> Там же. С. 428.

<sup>31</sup> Там же. С. 429.

<sup>32</sup> Там же.

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> Там же. С. 432.

каждую высказанную ему мысль, каждое прочитанное им мнение, тем глубоким, и непосредственным восторгом, тем простодушным и искренним любопытством, с которым готов был восхищаться каждым оригинальным взглядом или суждением, каждым мало-мальски даровитым произведением науки или искусства, наконец каждым проблеском таланта вообще, в чем бы тот ни проявлялся. Даже манеры, обороты речи, самая наружность его напоминали типичного великорусского монаха»<sup>35</sup>.

Что касается «наружности» Страхова, то можно вспомнить и слова учителя детей Толстого В. Ф. Лазурского. Он записал в «Дневнике» во время визита Страхова в Ясную Поляну в 1894 году: «Как-то Лев Николаевич сказал о Страхове: „Как посмотрю я на Николая Николаевича, быть бы ему архиереем; хороший бы архиерей вышел“. Действительно, Страхов — с открытым лицом, длинной седой бородой, благообразный, спокойный и мягкий — по наружности был бы хорошим архиереем. Славянофильская окраска его мнений также не противоречила бы этому званию. Вышедший из духовного звания, всегда живший уединенною жизнью ученого холостяка, Страхов, вероятно, с достоинством вынес бы монашеский подвиг, если бы это от него потребовалось»<sup>36</sup>.

Та же мысль о монашеских чертах Страхова звучит и в воспоминаниях о Достоевском писательницы Веры Микулич: «Холостяк Страхов по образу жизни был монашеского склада. Достоевский недаром восхищался исполнением им роли монаха в „Каменном госте“ <...> А когда неожиданно для него на сцене появился Н. Н. Страхов в костюме монаха, с четками и капюшоном, который как нельзя лучше шел к его наружности, походке и голосу, Достоевский пришел в положительное восхищение и всё повторял:

— Как он хорош! Bravo, Страхов! вызвать Страхова!»<sup>37</sup>

Страхову присущи вежливость и деликатность в бытовом общении, а также умение сохранять спокойствие, достоинство и объективность даже в литературной полемике, где «мудрые, яко змий» противники, наподобие «врага-друга» Владимира Соловьева, вовлекали его в ожесточенную полемику, вечно стремясь уколоть побольнее.

---

<sup>35</sup> Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов... С. 6–7.

<sup>36</sup> Лазурский В. <Ф.>, Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов (Из личных воспоминаний) // Русская быль. Серия III. I. Л. Н. Толстой. Биография, характеристики, воспоминания. Сб. статей. М., 1910. С. 154.

<sup>37</sup> Микулич В. Встречи со знаменитостью. М., 1903. С. 13–14.

Влияние монашеской традиции и вообще церковных писателей отразилось, по мнению Никольского, и непосредственно на стиле Страхова, простом и ясном и в то же время как бы уклончивом:

«В равной мере с личным характером отразились воспитание и образование Страхова в том, что в писателе соответствует характеру в человеке, а именно в его стиле. Неопределенно уклончивая мягкость этого стиля при совершенной точности, ясности и чистоте языка сообщает произведениям Страхова удивительную внешнюю оригинальность. Полная простота и общедоступность изложения неотъемлемо свойственны этим самым простым книгам о самых мудреных и темных вопросах. Он вежлив и деликатен с мыслями и мнениями, как с людьми, не обнаруживая притом ни тоном, ни отношением к ним своего согласия или несогласия. Насмешки, желчи в них нет и помина, хотя читатель очень часто встречается с тонкой, осторожной, но тем более меткой и едкой иронией. <...> В своеобразной рассудительности его шуток особенно ярко проявляется основная манера Страхова: он всегда писал простодушно, хотя рассуждал хитроумно»<sup>38</sup>.

Страхова часто упрекали из-за его осторожной манеры ведения беседы в уклончивости и неискренности, но Никольский опровергает такое мнение: «Он писал как будто не теми словами, какими думал. Осторожность и отвлеченность, прозрачность выражений, слишком художественные, чтобы напоминать мертвенный канцелярский стиль, и то же время слишком светские, чтобы вполне приближаться к манере письма современных церковных писателей, так изысканны и в то же время просты у Страхова, до такой степени предоставляют читателя мыслям автора, ничего ему не подсказывая слогом, что многие склонны смешивать их с неискренностью»<sup>39</sup>.

Даже стилистическое своеобразие сочинений Страхова Никольский возводит к церковной литературе, удаивая его необычного для светского писателя титула «аскета стилистики»: «Нам просто непривычен монашеский тон Страхова в применении к светским вопросам и предметам, и потому даже до сих пор лишь немногие понимают, что церковная стилистика дала русской литературе в лице Страхова одного из самых замечательных наших прозаиков. То, в чем иные склонны

---

<sup>38</sup> Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов... С. 7.

<sup>39</sup> Там же. С. 7–8.



видеть хитрость или лукавство, было в сущности величайшей добросовестностью, учтивостью мысли этого аскета стилистики»<sup>40</sup>.

\* \* \*

«Тихим писателем» назвал Розанов Страхова в одном из своих сочинений. А в подлинно апокалиптические революционные годы он среди сумятицы вспомнил вдруг снова о своем давнем упокоившемся друге, характеризуя его в высшей степени положительно: «Праведный писатель, ...святой писатель... монастырь писатель... Как ты прекрасен в своей старомодности...»<sup>41</sup>. Эти слова Розанова, пожалуй, страдают даже преувеличением, но все-таки определение «монастырь-писатель» подходит к Страхову, наверное, более, чем к кому-либо еще из светских литераторов.

Любовь к Богу, монашеское самоограничение и стремление к нравственному совершенствованию, как отмечали все наиболее проницательные исследователи жизни и творчества Страхова, действительно составляли скрытый нерв его личности. Он так и прожил остаток жизни одиноким отшельником на своем «пустынножительном чердаке». Обсуждения вопросов веры Страхов старался избегать, но при этом сам время от времени охотно «исповедался» — правда, не священнику, а в письмах к Льву Толстому. Вырастающий из этих самоуничижительных откровений образ духовно слабой личности, испытывающей недостаток внутренней энергии и веры, пораженной гамлетизмом, не слишком приятен. Но на эти бесстрашно-исповедальные самообнажения можно посмотреть и с другой стороны: в них проявляется предельная требовательность к себе, искреннее желание стать лучше, нравственное, готовность к всестороннему самоограничению, стремление к идеалу, к истине, к вере. При свойственной Н. Н. Страхову мягкости характера и уклончивости натуры, он был неизменно тверд в отстаивании истины и строг, даже несколько пуристичен в вопросах нравственности. Отсюда присущие Страхову аскетическая сухость стиля и менторские, назидательные нотки его сочинений.

\* \* \*

Важным моментом в знакомстве Страхова и Толстого с монастырским укладом жизни стала их совместная поездка в Оптину пустынь

---

<sup>40</sup> Там же. С. 8.

<sup>41</sup> Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2000. С. 266.

летом 1877 года. Первым об этом путешествии сообщил в своих воспоминаниях Стахеев<sup>42</sup>, что-то слышавший о нем от самого Н. Н. Страхова. Но видно, что интересы Стахеева далеки от религии, а его знания по теме настолько приблизительны, что воспринимать эти описания и рассуждения нужно с осторожностью.

Воспоминания Д. И. Стахеева ценны прежде всего портретами бывавших у Страхова писателей, а также тем, что в них подмечено немало характерных, преимущественно симпатичных, черт Страхова: «тишайший из литераторов и ученых» (с. 91); «...самого Страхова, кстати сказать, иначе нельзя себе и представить, как с улыбкой» (с. 92); «Достоевский и Леонтьев были большие говоруны, Страхов в разговоре был сдержан, никогда не волновался и был большой мастер слушать и молчать» (с. 91). Но в то же время видно, насколько Стахеев, проживший рядом со Страховым 16 лет и находившийся с ним в приятельских отношениях, слабо знает и понимает внутренний мир своего соседа. Например, ему непонятно, почему именно этот монастырь «облюбовали» писатели и философы, и с какой целью стремились туда, в частности, Гоголь, Достоевский и Соловьев, — «может быть, и с религиозною, а, может быть, и просто так, для развлечения и отдыха после утомительных литературных трудов» (с. 82). Неведомо автору и то, как и зачем туда попал сам Страхов. Стахеев скептически заявляет, что Страхова в Оптину пустынь «заманил» Толстой («Несомненно, он заманил»), хотя известно, что Страхов интересовался Оптиной задолго до поездки и инициатива посещения монастыря исходила именно от него.

Вот, например, какие мысли высказывал философ во время пребывания в Риме в 1875 году: «Современная жизнь и современные люди нисколько не интересны. Настоящая жизнь человека — религия, какая-нибудь идея <...> И вот мне хотелось повидать монахов, увидеть живую в людях религию. (Я непременно посету Оптину пустынь и какие-нибудь русские монастыри.) Что аскетизм есть последовательное выражение религии — для меня несомненно; я до семнадцати лет (даже первый год университета) жил в среде духовных и монахов, и знаю, в чем дело»<sup>43</sup>.

На следующий день путешественник продолжает размышления на ту же монашескую тему и прямо заявляет, что отдаст предпочтение православному монашеству: «А монахи так мне и не даются. В Неаполе

---

<sup>42</sup> Стахеев Д. И. Группы и портреты (Листочки воспоминаний) // Исторический вестник. 1907. № 1. С. 81–94.

<sup>43</sup> Толстой — Страхов. Переписка. Т 1. С. 208.

они меня удивляли своею серьезностью сравнительно с ясностью лишь остального населения. Здесь они просто отвратительны. наших монахов ставлю в тысячу раз выше; тут их лица грубы, скучны, и больше ничего»<sup>44</sup>.

Это письмо недвусмысленно говорит о том, что поездка вместе с Толстым летом в 1877 года в Оптину пустынь, состоявшаяся по инициативе Страхова, не была случайной.

Страхов давно расспрашивал о знаменитом монастыре бывавшего у него сотрудника петербургских консервативных изданий П. А. Матвеева, который посещал Оптину пустынь с детства. Стахеев, знающий о монастырской жизни лишь понаслышке, тем не менее отводит центральное место в своих воспоминаниях не названному по имени «старцу-схимнику», которого упрекает в тщеславии.

Неудивительно, что, прочтя поверхностные и неточные воспоминания Стахеева, более осведомленный в этой теме Павел Матвеев написал критический отзыв<sup>45</sup>, подробно изложив известные ему сведения о поездке в Оптину пустынь Толстого и Страхова.

Путники отправились в обитель, с давних пор привлекавшую писателей и философов, 26 июля 1877 г. из Ясной Поляны в дорожном тарантасе, в самой скромной обстановке. Остановились в монастырской гостинице, у о. Феоктиста, и хотели оставаться неизвестными, но этот монах, бывший крепостной Льва Толстого, узнал его. За дружеским чаепитием они расспрашивали о монастырских порядках и знаменитом старце о. Амвросии.

На другой день после обедни о. Феоктист отвел Толстого к о. Амвросию, и тот пробыл у старца около часа. Потом посетил других иноков монастыря, в том числе жившего на покое архимандрита Ювеналия, беседовал с богомольцами. Понравился Толстому простотой обращения о. Пимен, называвший его «Левушкой».

На следующий день Толстой со Страховым снова отправились к о. Амвросию в скит. Говорил с ним один Лев Николаевич, а Страхов, по своему обыкновению, слушал и наблюдал. О. Амвросий советовал Толстому поговорить в монастыре, и исповедоваться и причаститься. Затем о. Амвросий стал объяснять значение Таинств в жизни, напомнив

---

<sup>44</sup> Там же. С. 209.

<sup>45</sup> Матвеев Павел. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пустыни // Исторический вестник. 1907. Апрель. С. 151–157.

слова Евангелия об искушениях, постигающих человека, ищущего веры, и весьма настойчиво говорил о необходимости смирения для христиан.

Затем вдруг, обратившись к молчавшему Страхову, который представился философом, сказал: «Наша философия не та, которой вы занимаетесь: мою переписку ведет о. Климент, он человек ученый, я Вас с ним познакомлю». Старец позвал о. Климента, а сам ушел к народу в хибарку. Видимо, он решил, что умственные доводы о. Климента, человека обширной духовной начитанности, более подходят для вразумления «чрезмерно» образованного философа. Иеромонах Климент (Зедергольм), как разъясняет К. Н. Леонтьев в прекрасной книге, посвященной этому подвижнику благочестия<sup>46</sup>, был не старцем, а катехизатором. В отличие, например, от о. Амвросия, который осмеливается руководить прямо духовной жизнью обратившихся к нему с верою и покорностью, иногда решая даже вопрос одним словом: «да» или «нет», катехизатор убеждает, излагая общие основы церковного учения, не упуская из вида и светские знания. В Оптиной паломникам, как и везде в монашеской среде, встречались не только прозорливые старцы или простецы типа о. Пимена, но и ученые монахи типа о. Климента.

Совет о. Амвросия говеть был, как сообщает Матвеев, принят Толстым, начавшим посещать церковные службы. Но тут приехал нарочный из Ясной Поляны с известием, что один из его сыновей заболел, и писатель спешно собрался домой, предварительно зайдя к о. Амвросию. О. Амвросий говорил ему, что болезнь ребенка несерьезна, и, вернувшись, он найдет его здоровым, а самого его ждет уныние и тоска, если он не будет говеть в монастыре. Толстой обещал говеть в деревне и уехал. Дома он действительно нашел ребенка почти здоровым. Сам писатель, как пишет Матвеев, впал в уныние и тоску, постепенно возраставшие. Дело дошло до того, что когда он уходил в лес, за ним посылали смотреть. Здесь Матвеев замечает, что все написанное выше он слышал от Н. Н. Страхова.

Далее Матвеев передает мнение о Толстом старца Амвросия, которое он узнал у о. Климента, побывав в монастыре вскоре после путешественников: «Старец с прискорбием смотрит на его деятельность, особенно в будущем; сердце его ищет веры, а в мыслях путаница; он слишком полагается на свой ум и большой рационалист. Страхов же книжник; книги его более всего интересуют. Он спрашивал меня об Афоне, его

---

<sup>46</sup> Леонтьев К. Н. Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни. М., 1882.

более всего занимали тамошние книгохранилища и древние списки Евангелия»<sup>47</sup>.

Сам о. Амвросий сказал Матвееву при встрече о Толстом: «Мудреный он человек: сердце ищет Бога, а в мыслях путаница и неверие. Горд он очень, духовной гордостью. Много вреда он делает своим произвольным и суемудрым толкованием евангелия, которое, по его мнению, никто до него не понимал, но на всё воля Божия»<sup>48</sup>. На слова о том, что Страхов, уважительно относящийся к религии, может иметь на Толстого доброе влияние, о. Амвросий ответил: «Страхов человек закоснелый, неверие его глубже и крепче»<sup>49</sup>. О. Климент подтвердил, что и сам слышал от батюшки такое мнение: «Много бед предвидит он от Толстого, который может оказать большое влияние на умы, а Страхова считает человеком отпетым, для которого вера только поэзия»<sup>50</sup>. И добавил, что, как считает старец, «Страхов влияния на Толстого не имеет, скорее наоборот, это его справочная книга».

Страхов, услышав все это от Матвеева, был таким отзывом, естественно, огорчен и с недоумением сказал: «Да ведь я, кажется, с о. Амвросием мало о чем и говорил». И добавил: «Он советовал мне читать Исаака Сирина, духовного наставника монахов и великого душеведца, по его совету, и подарил какую-то брошюрку, в которой передаются разговоры Ермия с языческими философами — но это детская книжка, а серьезно-го разговора с Амвросием у меня не было»<sup>51</sup>.

Согласно составленной в библиотеке Санкт-Петербургского университета описи книг, о. Амвросий подарил философу книгу Исаака Сирина «Слова духовно-подвижнические» (М., 1854). На книге надпись рукой Страхова: «От о. Амвросия. Оптиная пустынь. 1877. 27 июля». Там имеется запись и о другом подарке, полученном Страховым в Оптиной пустыни от о. Климента: книге Николая Кавасилы «Семь слов о жизни во Христе» (М., 1874), с надписью: «От о. Климента. Оптиная пустынь. 1877. 27 июля»<sup>52</sup>.

Далее Матвеев, упомянув более поздние воспоминания Страхова о поездке на Афон, пишет: ««В этой статье он тонко и мягко осмеивает парихондую публику, удивлявшуюся, как он, писатель и человек науки,

<sup>47</sup> Матвеев Павел. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пустыни... С. 154.

<sup>48</sup> Там же.

<sup>49</sup> Там же.

<sup>50</sup> Там же. С. 155.

<sup>51</sup> Там же.

<sup>52</sup> Инвентарь [университетской библиотеки] 1897–1899 гг. СПб., 1899. Л. 65–349.

едет в монастырь, „а монастыри, — улыбаясь, говорил Страхов, — несомненно кое-что значат в духовной жизни народов. Это мнение я вынес из моей поездки в Оптину“». В период появления афонских воспоминаний в «Русском вестнике» Матвеев, как он сам замечает, часто бывал у Страхова. «Страхов умел обходить разговоры о религии», — пишет он. И заявляет: «Действительно, как я убедился во время болезни Страхова <...>, он был человек неверующий, хотя думал, что религия нужна для народа. Мягкий и кроткий, он сильно раздражился, когда я упомянул о священнике перед операцией, и скончался без церковного напутствия»<sup>53</sup>.

Возможно, Матвеев частично и прав: Страхов испытывал глубокие сомнения в вере, но категорично говорить о его неверии было бы явным упрощением, хотя его религиозность имела скорее внецерковный характер. И уж совсем невероятным выглядит приведенное далее странное суждение Л. Н. Толстого, с которым Матвеев встречался уже после кончины Страхова. По мнению Толстого, как, передает Матвеев, то, «что Страхов, человек научно-образованный, отличный стилист и бесспорно умный человек, так мало оказывал влияния на русское общество, вероятно, происходило оттого, что он был равнодушен к вопросам религии»<sup>54</sup>. Однако трудно поверить, чтобы Толстой в конце 1890-х годов, еще в полной памяти, мог такое сказать о своем покойном друге. Вот что, например, пишет в «Дневнике» наблюдавший за беседой Толстого со Страховым в 1894 году учитель детей Толстого В. Ф. Лазурский, впоследствии профессор Новороссийского университета: «Лев Николаевич посоветовал мне обратить внимание на одну черту у Страхова (он об этом говорил и брату); его мистицизм в духе Ефрема Сирина и других восточных учителей церкви»<sup>55</sup>.

К месту будет здесь и контрастирующее с этой репликой мнение Толстого, зафиксированное в одном из писем художника М. В. Нестерова. В 1907 году, работая в Ясной Поляне над портретом Л. Н. Толстого, Нестеров записал высказывание писателя: «Далее Л. Н. рассказал мне, как он был вместе с покойным Страховым в Оптиной пустыни у знаменит<ого> старца Амвросия и как Амвросий, приняв славянофила, верующего церковника Страхова за закоренелого атеиста, добрый час наставлял его

---

<sup>53</sup> Там же.

<sup>54</sup> Там же.

<sup>55</sup> Дневник В. Ф. Лазурского // Литературное наследство. Т. 37–38 (Л. Н. Толстой). М., 1939. С. 491.

в вере православной и как сконфуженный Страхов терпеливо, без возражений выслушивал учительного старца, который при всей прозорливости перемешал своих посетителей»<sup>56</sup>. Вопреки сказанному Матвеевым, Л. Н. Толстой считает Страхова даже «верующим церковником».

Если в критике воспоминаний Стахеева Матвеев в основном прав, то в отношении Страхова и Толстого он не совсем точен в изложении событий. После поездки Страхов писал Толстому: «Сегодня был у меня Павел Александрович Матвеев; он навещал Оптину пустынь после нас и привез мне целую кучу разговоров об Вас и даже обо мне. Отцы хвалят Вас необыкновенно, находя в Вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас к Гоголю, вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у Вас вовсе нет этой гордости. Боятся, как бы литература не набросилась на Вас за 8-ю часть <„Анны Карениной“>, и не причинила Вам горестей. Меня о. Амвросий назвал *молчуном*, и вообще считают, что я закоснел в неверии, а вы гораздо ближе меня к вере. И о. Пимен хвалит нас (он-то говорил о Вашей прекрасной душе) — очень было и мне приятно услышать это. Отцы ждут от Вас и от меня обещанных книг и надеются, что мы еще приедем»<sup>57</sup>. Как мы видим, спустя десятилетия, когда Страхова уже не было на свете, Матвеев изложил события несколько в иной тональности. Возможно, на его изменившиеся в худшую сторону характеристики и оценки повлияло состоявшееся к тому времени отлучение Толстого. Отзыв Матвеева о Страхове, не говоря уже о Стахееве, отличается явной недоброжелательностью. Философ выглядит у Матвеева почти атеистом.

Стахеев, прочитав статью Матвеева, был возмущен ее резким тоном. 16 апреля 1907 года он написал гневное письмо издателю «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому, редактору «Исторического вестника», где появились и его воспоминания, и статья Матвеева. Это важное письмо засуживает того, чтобы его следует привести целиком:

«На днях получил апрельскую книжку „Ист<орического> Вест<ника>“ и изумился статье Матвеева о Страхове. Видно, ему, как ослу, хотелось лягнуть покойника, да с ним вместе — и меня. Лягнуть-то легко, но какая от этого и кому честь? И врет он, что Страхов не пожелал перед смертью исповедоваться. Мне лучше знать, что он говорил в последние минуты, а говорил он (слабым голосом), что „желаю

---

<sup>56</sup> Нестеров М. В. Письма. Л., 1988. С. 226.

<sup>57</sup> Толстой — Страхов. Переписка. Т. 1. С. 355.

исповедоваться<sup>58</sup>. Эти слова может подтвердить и мой племянник, бывший при нем в предсмертные его минуты. Он теперь профессор по анатомии в Одессе: в случае — можно его спросить и он подтвердит мои слова. За священником тогда послали, но он уже не застал Страхова в земной оболочке, с духом его, освободившимся от темницы, он, конечно, вести беседу не мог — и ушел ни с чем. Я мог бы написать на статью Матвеева заметку, но с такими лицами противно входить в сношение — и Бог с ним. Если бы он на меня и похуже что наврал — я бы не ответил ему, памятуя слова Шекспира: „Злодейство встанет на беду себе и если ты его землей закроешь целой — оно стряхнет ее и явится на свет“. Вот, родной Сергей Николаевич, в каком положении дело Страхова: умер, а все еще от ослиных копыт не освободился. В литературе все, конечно, знают Страхова больше и точнее, чем Матвеев, да и о нем очень хорошо все знают, ведь было однажды в „Русских Известиях“ написано, что он „сплетник“. С таким мнением о нем и я остаюсь — и суди его Бог. Из статьи его между прочим, и еще не следует, что квартира у нас была общая и прислуга — тоже и стол — тоже, а он говорит, что Страхов жил со своей прислугой: ему, видно, обидно, что люди могут по столько лет жить, видаться и не поссориться. Н. Н. (скажу по секрету) очень тяготился знакомством с Матвеевым, но по ангельскому своему характеру терпеливо переносил его и нередко говаривал про него: „Да, да, он навязчив и очень неприятен, но что делать — надо переносить и его, как и всякое другое житейское огорчение“<sup>59</sup>.

Можно сколько угодно найти примеров, что Страхов был религиозным скептиком и внецерковным человеком, но можно обнаружить и столько же подтверждений тому, что вера не покидала его душу. Матвеев прав только в том, что Страхов действительно уклонялся от обсуждения вопросов о вере. Итак, оба основных источника о поездке Толстого со Страховым в Оптину пустынь заслуживают критического к себе отношения.

Осенью после поездки, 11 ноября 1877 года, Страхов сожалел в письме к Толстому об угрызениях совести оттого, что до сих пор не исполнил своего намерения написать о Клименту. Возможно, с этим образованным и ревностным монахом Страхов и нашел бы общий язык, но весной 1878 года о. Климент внезапно преставился.

---

<sup>58</sup> Такое желание было высказано на предложение — пригласить священника со Св. Дарами (прим. Д. И. Стахеева).

<sup>59</sup> Д. И. Стахеев — С. Н. Шубинскому. 16 апр. 1907 г. // ОР РНБ. Ф. 874. Ед. хр. 111. Л. 80–81.



Что касается книги Исаака Сирина, полученной от о. Амвросия, то в ее оценке философ проявил, может быть, излишний педантизм книжника, выразив недовольство качеством перевода: «Книга Исаака Сирина оказалась совершенно невозможной для чтения, и я хочу достать другой перевод»<sup>60</sup>.

Как бы то ни было, опыт общения с монахами, полученный в Оптиной пустыни, не прошел для Страхова бесследно. Он, вольно или невольно, часто описывает свою уединенную жизнь, используя монашеские понятия и лексику.

Так, с апреля 1881 года, после отъезда Стахеевых на юг, Страхов остается в квартире в полном одиночестве и наслаждается тишиной, сравнивая свое отшельничество с опытом пустынников: «Вокруг меня воцарилась тишина самая полная, восхитительная. Я чувствовал себя здоровым, спокойным, и я подумал: передо мною три месяца жизни совершенно пустынножизненной: я должен воспользоваться ими». Он решает остаться в городе до августа и «закончить ряд скрывающих его дел». Душевное равновесие к июню ему восстановить удалось, хотя выполнение намеченных дел шло не столь успешно: «...Пустынничество удалось, припадки тоски прошли, но работа идет плохо...»<sup>61</sup>.

Этот «пустыннический» период, возникший случайно, из-за отъезда Стахеевых, послужил для Страхова неким этапом духовной подготовки к поездке на Афон, куда он отправляется в августе.

\* \* \*

Мысль о посещении главного православного монастыря на Афоне зародилась у Н. Н. Страхова не в год путешествия. Об этом желании ближе познать жизнь православных иноков он писал уже из Рима в 1875 году, наблюдая за католическими монахами. Поездка с Толстым в Оптину пустынь, несмотря на не слишком лестные отзывы о нем старца Амвросия, повысила интерес Страхова к монастырской жизни. И ему хотелось увидеть истинные свойства монашества, на греческом полуострове совершенно изолированного от мира и отрекшегося от него. Важную роль для Страхова имело и то, что «на Афоне живет дух нашего православного благочестия, «одно из чистейших воплощений того животворного начала, которое составляет истинную душу русского народа»<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Толстой — Страхов. Переписка. Т. 1. С. 376.

<sup>61</sup> Там же. Т. 2. С. 613.

<sup>62</sup> *Страхов Н.* Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 10.

Воспоминания об этой поездке 1881 года были опубликованы только спустя восемь лет после нее. Страхов начинает рассказ прекрасными словами, сразу вводящими читателя в ритм и смысл повествования: «И в моей жизни было редкое и прекрасное событие: я видел Афон. Впечатления, которые оставила во мне Святая Гора, составляют с тех пор (то есть с 1881 года) великую драгоценность, и они живо возникли во мне, когда появилось известие о смерти игумена отца Макария (19 июля 1889 г.) и стали печататься воспоминания об нем и очерки его жизни. Мне досталось счастье видеть о. Макария и разговаривать с ним; из всех, кого я видел на Афоне, он был для меня самым чистым и несравненным по красоте воплощением того духа, которым живет вся Афонская гора».

От лирического введения Страхов переходит к ироническому описанию того факта, что очень многие «просвещенные люди» на пути до Константинополя и даже в посольстве выражали ему недоумение. Они не понимали, зачем образованный человек «в наш прогрессивный век» едет к монахам, этому отсталому и даже вредному элементу человечества.

Путешествие на Афон, которое заняло полтора месяца, сыграло в жизни Страхова важную роль. Во-первых, он написал об этом путешествии замечательный очерк, который стал одним из его лучших произведений. Во-вторых, это путешествие позволило ему достичь глубокого понимания сути православной веры и монашеской жизни. Нет сомнений также, что он там «еще лучше научился» смирению<sup>63</sup>, что он и подтверждает по возвращении в одном из писем к А. А. Фету.

Конечно, в этом произведении немало противоречивых для строгого глаза деталей, и чуткий читатель не может, например, не обратить внимания уже в начале на такую фразу: «Афон есть поприще и училище святости, а святой человек есть высший идеал русских людей, начиная от неграмотного крестьянина и до Льва Толстого»<sup>64</sup>. Толстого, к тому времени уже противопоставившего себя Церкви, Страхов производит в соучастники православной святости нашего народа. Конечно, такого рода недостатки с точки зрения строгого соответствия православию в очерке имеются, и они достаточно подробно и критически рассмотрены, например, в книге С. С. Шаулова «Страхов как творец и персонаж литературных контекстов»<sup>65</sup>. Но Страхов и не предполагал выдавать свои путевые

---

<sup>63</sup> А. А. Фет и его литературное окружение. Кн. 2. С. 339.

<sup>64</sup> *Страхов Н.* Воспоминания и отрывки... С. 10.

<sup>65</sup> *Шаулов С. С.* Страхов как творец и персонаж литературных контекстов. Уфа, 2011.

заметки за церковную литературу, уверяя восторженных почитателей этих воспоминаний наподобие графини А. А. Толстой, что они написаны неверующим человеком. Однако этот очерк, блестящий с литературной точки зрения, и хорошо раскрывает суть православного монашества, и дает наглядное и емкое представление об Афоне.

По возвращении из путешествия Страхов пишет Толстому, продолжая «монашескую» тему: «На усилия, на крутые повороты я не способен, но знаю, что, постоянно держась одной мысли, одного пути, могу прийти до чего-нибудь хорошего. Я стал несравненно спокойнее, чем был, и все благодаря вам и чтению монашеских книг»<sup>66</sup>. Это «чтение монашеских книг» прямо говорит не только о постоянной работе над своим духовным разумением. Другая возможная причина — обдумывание воспоминаний о своем пребывании в монастыре на Афоне. Эти воспоминания Страхов, впрочем, завершит и издаст спустя восемь лет, в 1889 году.

Подробное и мерно текущее повествование идеально гармонирует с содержанием очерка. Это настоящая художественная проза. Наконец, прекрасен и сам аскетический и в то же время выразительный стиль, выработанный автором. Никольский считает даже, что Страховым был создан особый стиль и тон отвлеченного русского слога и что описание Афона не уступает знаменитым описаниям С. Т. Аксакова. Он обнаруживает, что на удивительную чистоту и ясность языка очерка оказала глубокое влияние школа духовного красноречия и церковных писателей.

Страхов сумел ярко раскрыть и красоту мест, и подробности монастырского быта, и высокий духовный смысл аскетического подвижничества. Он очень удачно противопоставляет свои впечатления книге французского писателя Вогюэ, который увидел в монастыре только «духоту и удручение» и распространил траурный покров меланхолии даже на окружающую природу.

Страхов убедительно опровергает мрачные картины, нарисованные французским писателем-путешественником, простым сообщением, что монахи «считают грехом, если подвергаются чувству уныния и тоски»<sup>67</sup>. Но особенно убедительны в очерке примеры конкретных монахов, которых, как подчеркивает Страхов, отличает ласковое радушие, веселый смех и спокойствие. Страхов останавливается на кажущейся особенно трудной для нас монастырской молитве и, словно давний и опытный насельник монастыря, убеждает в обратном: «Молитва

<sup>66</sup> Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 624.

<sup>67</sup> Страхов Н. Воспоминания и отрывки... С. 28.

ведь есть обращение к Богу, и, если только мы действительно молимся, действительно обращаемся к Богу, он приводит нашу душу в одно из высших и отраднейших состояний»<sup>68</sup>.

Очень тонко описывает Страхов индивидуальные черты старца Макария, на примере которого он рисует образ «светлого монаха». Он благоговейно живописует портрет подвижника простыми, выверенными и в то же время вдохновенными словами: «...и движения и позы отца Макария носили в себе тот же светлый характер, как и все остальное; в них видна была скорее живость и энергия, чем заученная плавность и мягкость. Но отчего же весь его вид имел в себе при этом нечто величавое, и вместе совершенно простое, а во время служения — глубоко благоговейное? Отчего его чтение и возгласы из алтаря не только были чужды машинальности, но звучали сердечным благочестием? Этого нельзя рассказать и объяснить словами»<sup>69</sup>.

Путевые заметки об Афоне вдумчивого и зоркого путешественника обратили на себя внимание многих современников, и отзывы были преимущественно положительными.

Верность передачи Страховым афонской атмосферы отмечал даже обычно не слишком его жаловавший К. Н. Леонтьев, который сам бывал на Афоне, исповедовался как раз архимандриту Макарию (Мышкину) и тоже писал об афонской обители.

Очень пришлось по душе «Воспоминания о поездке на Афон» благочестивой графине А. А. Толстой, жившей в Петербурге и нападавшей в разговоре со Страховым на своего яснополянского родственника — и она уверяла Страхова, что видит теперь, что он верующий, а он отрекался. По этому поводу Страхов писал Толстому: «...мне было очень совестно, когда Александра Андреевна <Толстая> и разные другие благочестивые люди причисляли меня к своим. Перед Ал<ександрой> Андр<еевной> я прямо отрекся: „нет, графиня, я никогда не выразил, что я верующий“. — Чувствовал я, что „Поездка“ Вам не может понравиться, но как из церковно-верующих никто (впрочем, кроме Ольги Александровны <Данилевской>) не заметил, что „Поездку“ писал не верующий?»<sup>70</sup>.

Ю. Н. Говоруха-Отрок посвятил статье Страхова рецензию «Мнения светского писателя о монашестве»<sup>71</sup>, в которой противопоставил су-

---

<sup>68</sup> Там же. С. 41.

<sup>69</sup> Там же. С. 36–37.

<sup>70</sup> Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 820.

<sup>71</sup> Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели? СПб., 2012. Т. 2. С. 121–132.

ждения одного из образованнейших русских людей, утверждающего, что «монашество есть путь действительного блаженства», тому, что говорят и думают о монашестве в нашем «интеллигентном обществе».

Историк К. Н. Бестужев-Рюмин тоже воспоминания одобрил, но посчитал, что автор несколько приукрасил монахов: «Прочел я статью Страхова об Афоне. Хорошо там для души утомленной. Правда, говорят, что он чересчур раскрасил монашество, скрыв его дурные стороны, о которых Достоевский вспомнил. Правда, но хорошие стороны существуют, и их он изобразил»<sup>72</sup>.

Розанов отмечал, что поездка на Афон разрушает представление о Страхове как о религиозном скептике: «Но он действительно ездил на Афон, и его заметки — не вольные зарисовки путешествующего литератора или эстета, равнодушного к религии. Его наблюдение о постоянно улыбающихся лицах строгих афонских монахов-аскетов запомнились многим, в том числе и одобрительно и жившему долгое время в Оптиной К. Н. Леонтьеву».

Пожалуй, только Л. Н. Толстой отрицательно отозвался в «Воспоминаниях о поездке на Афон», не приняв упоминаемую в очерке исихастскую монашескую традицию многократного повторения Иисусовой молитвы, которая, конечно, не совпадала с его рационалистической трактовкой христианства: «„Поездка“ мне скорее не нравится — именно тем, чем она нравится гр. Алекс<андре> Андреевне (не Алексеевне) Т<олстой>. И утверждение о том, что повторение десятки раз сряду одних и тех же слов может быть не отвратительно по своему безумно и кощунственно механическому отношению к Богу, мне очень противно. Противно, потому что вредно»<sup>73</sup>.

И далее Толстой нападает уже на самого Страхова, не разделяющего его нигилистического отношения к социальным и государственным институтам: «Мне всегда душевно больно, когда я вижу в вас эти черты умышленного принижения своего духовного я во имя чего-то такого мелкого, ничтожного, как привычка, семья, народ, церковь <...>»<sup>74</sup>. Из этого рассуждения хорошо видно, насколько разнятся взгляды на христианство у Толстого, для которого «семья, народ, церковь» — лишь «игрушки человеческие», и у Страхова, который, конечно, тоже страдал религиозным скептицизмом, но далеко не в такой степени, как Толстой.

---

<sup>72</sup> Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1890. С. 285.

<sup>73</sup> Толстой — Страхов. Т. 2. С. 816.

<sup>74</sup> Там же.

Отношение Толстого к афонским путевым заметкам показывает в очередной раз, что различие в вере между ним и Страховым было огромным. Страхов был все время на грани обретения церковной веры: потеряв набожность в юношеском возрасте, он только о вере постоянно и думал, но сам себя останавливал, таил свои религиозные переживания от других и оговаривал себя «неверующим». Толстой же, отвергая Таинства, считал себя христианином, хотя был неверующим в православном смысле. Толстой пытался оказывать на преклонявшегося перед ним Страхова моральное воздействие, а тот, несколько подавшись в сторону своего друга, при всей мягкости характера, всё же до конца своих дней сохранил независимость взглядов, так и не став «толстовцем».

22 августа 1886 года, за десять лет до своей кончины, Страхов написал Толстому о желании последнюю свою книгу написать «во славу Божию»: «Я был бы совершенно доволен, если бы удалось мне написать еще книгу, последнюю, о том, как искать Бога, как все делать во славу Божию и всякое познание направлять к познанию Бога. Вы видите, замыслы высокие, но ничего никогда мне так не хотелось написать, как это. Напишу как-нибудь, торопясь, но непременно напишу»<sup>75</sup>. Такой заветной книги пустынножитель Страхов, к сожалению, так и не написал. Но уже и сам этот замысел окончательно снимает сомнения относительно его взглядов на религию и христианство.

### Источники и литература

1. *Говоруха-Отрок Ю. Н.* Мнение светского писателя о монашестве. Н. Страхов. Воспоминания и отрывки // Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели? СПб., 2012. Т. 2. С. 121–132.
2. Дневник В. Ф. Лазурского // Литературное наследство. Т. 37–38 (Л. Н. Толстой). М., 1939. С. 444–503.
3. *Лазурский В.* <Ф>. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов (Из личных воспоминаний) // Русская быль. Серия III. I. Л. Н. Толстой. Биография, характеристики, воспоминания. Сб. статей. М., 1910. С. 148–156.
4. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки: в 2 т. Группа славянских исследований при Оттавском университете, Оттава; Государственный музей Л. Н. Толстого, Москва, 2003.
5. *Матвеев Павел.* Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пустыни // Исторический вестник. 1907. Апрель. С. 151–157.

---

<sup>75</sup> Там же. С. 712.

6. М. [Меньшиков М. М.] Памяти Н. Н. Страхова // Книжки «Недели». 1896. № 3. С. 253–257.
7. Микулич В. [Веселитская Л. В.]. Встречи со знаменитостью. М., 1903.
8. Нестеров М. В. Письма. Л., 1988.
9. Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896.
10. Письма Владимир Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. 1.
11. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2000.
12. Розанов В. В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло... / Сост. П. П. Апрышко и А. Н. Николюкин. М.: Республика, 1997.
13. Розанов В. В. Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. М., 2001.
14. Стахеев Д. И. Группы и портреты (Листочки воспоминаний) // Исторический вестник. 1907. № 1. С. 81–94.
15. Стахеев Д. Пустынножитель (Повесть о книгах и книжниках) // Русский вестник. 1890. Март. С. 114–155; Апр. С. 164–199.
16. Стахеев Д. Станислав первой степени и енотоя шуба (из воспоминаний о Н. Н. Стракове) // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 442–443.
17. Д. И. Стахеев — С. Н. Шубинскому. 16 апр. 1907 г. // ОР РНБ. Ф. 874. Ед. хр. 111. Л. 80–81.
18. Страхов Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892.
19. Страхов Н. Воспоминания о ходе философской литературы // Исторический вестник. 1897. Май. С. 423–434.
20. С. У. [Уманец С. И.] Мозаика (Из старых записных книжек) // Исторический вестник. 1912. Декабрь. С. 1042–1047.
21. А. А. Фет и его литературное окружение. М., 2011. Кн. 2. С. 549 (Серия «Литературное наследство». Т. 103).
22. Шмуурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1890. С. 285.
23. Шаулов С. С. Страхов как творец и персонаж литературных контекстов. Уфа, 2011.